

## Эрато

Уже неделю гостит у меня Эрато, обворожительная, неутомимая в любви Эрато. Она пьёт мой кофе, курит мои папиросы; вставая с постели, посматривает, чуть разведя шторы, во двор и смеётся над нелепым нарядом прохожих или листает книги, беря их с полки.

— Так, посмотрим. Кто здесь у нас?.. Гесиод!.. «С Муз, геликонских богинь, мы песню свою начинаем...» На что тебе зануда Гесиод?.. Ведь ты не читаешь его... Даже я не читаю его. Так... А это кто? Бодлер?.. О да, я помню многострадального Шарля! Его сгубил абсент. Ужасная вещь. Твой кофе и тот лучше. А это?.. Ницше, бедный Ницше... Его Зулейка и Дуду прелестны; обоих он писал с меня... О, Тютчев!.. глубокий и мрачный, как туча... Ага! Конечно: Пушкин. Куда ж без Пушкина?.. Знаешь, он обожал яблоки. Он ел их с косточкой. Из-за него мы часто ссорились с Клио... А это?.. Хетагуров. Милый, милый Коста!.. Он любил, но он совсем не понимал женщин. Кроме одной. Догадайся, кто она?.. Вот за что я любила его,—и смеётся.

— Оставь их,—говорю я,—иначе я их сожгу.  
— Не смей, иначе я разлюблю тебя. Они твои братья. Они тебе ближе, чем я...

Не уходи, Эрато, любимая. Я уже не могу отзывать на твои ласки, но дай мне немного полежать, склонив голову на твои колени... Погладь меня, мой лоб и волосы. Хорошо ли тебе со мной? Хороший ли я любовник?.. Куда ты теперь? Кто он?.. Моё сердце разрывается на части от ревности. Ладно, не говори. Только возвращайся, гетера. У меня никого нет, кроме тебя.

## Урок

Когда телесная свобода безгранична, дух всецело прикован к телу; смена внешних впечатлений не даёт ему сосредоточиться на самом себе, и он часто упрощается и коснеет, становясь невосприимчивым к тонким вибрациям жизни. Когда же телесная свобода стеснена, нравственная получает возможность расширения. В этом и заключается смысл всякого ограничения свободы, выступающего формой принудительной аскезы; тюрьма—образ чистилища...

Однажды, когда я учился в первом или во втором классе, меня поставили в угол. Помню, я не был виноват: я всего лишь дал сдачи моему соседу, ткнувшего мне под рёбра карандашом. Я не захотел оправдываться. Я покорно занял место в углу класса, но, чтобы показать, что у меня есть на этот счёт особое мнение, я не опустил головы, а гордо уставился в стену. Через минуту, когда я немного успокоился и кровь перестала шуметь в ушах, я вдруг различил на стене барельеф сочувственно улыбающегося человеческого лица; от неожиданности я даже немного отшатнулся... Очертания этого лица были такими явными и живыми, были так чётко и убедительно прорисованы, что я поначалу не мог поверить, что оно образовано случайным сочетанием неровностей стены, видимо, когда-то наспех и кое-как прошапклёванной малярами. Присмотревшись, я разглядел рядом поднявшегося на дыбы коня, чуть правее—дерево с изломанными ветвями на скальном утёсе, под которым бурлила настоящая горная речка, а ниже—кусок зубчатой красной стены и кремлёвскую башню со звездой... и всё на пространстве каких-нибудь двух дюймов!.. Впервые в жизни я увидел так близко грубую фактуру материи—её щербинки, пупырышки и царапины, волнистую чешуйчатую корочку пересохшей краски, окаменелые слёзы её подтёков,—и каждая её подробность была огромна, незаблема и таинственна, как лунные кратеры; я будто созерцал ландшафт незнакомой планеты, облетая её на космическом корабле. Мысленно я бродил по крокам глубоких каньонов, взбирался на одинокие голые сопки, преодолевал безжизненные степи с растрескавшимся грунтом... Я совсем забыл о реальной жизни, оставшейся у меня за спиной, только голос учительницы бубнил невнятно и потусторонне, как досадная помеха. Ей пришлось дважды окликнуть меня, чтобы вернуть за парту,—так я был зачарован открывшимся мне целым миром...

Сразу после звонка сосед убежал, опасаясь моей мести. А я про него и думать забыл. Я думал об уроке. Это был мой самый лучший школьный урок. С тех пор я знаю, что любая стена, если

близко-близко к ней подступить, интереснее звёздного неба.

## Спасибо

Он сидел на мостовой, подобрав острые коленки и припавши к ним грудью; его сжатые в кулак кисти были судорожно втиснуты в карманы пиджака, а лицо погружено в бесцветное подобие шарфа, которым была обмотана до ушей его голова с жидкими русыми волосами, и быстрые снежинки таяли на его проплешине. Немного замедлив шаг, я приготовил одну купюру и, проходя мимо, быстро пригнулся и бросил её в лежавший у его ног шерстяной беретик.

Я уже успел сделать несколько шагов, когда зачем-то оглянулся. Он оставался в прежней позе, в том же напряжённом оцепенении безнадёжности и безразличия. Сложенная пополам купюра трепетала, как бабочка, готовая упорхнуть. Я подошёл, встал перед ним и коснулся его плеча:

— Гражданин.

Он поднял голову, потом открыл глаза.

— Положите это в карман. Ограбят.

— О, спасибо,— произнёс он с бледной улыбкой и убрал деньги.

Мне показалось, что он сделал это только из вежливости.

— Знаете что?..

— Что?— спросил он и прислушался.

— Спасибо в карман не положишь.

Он немного помигал веками, как бы нахмурился, а потом рассмеялся тихим и тёплым смехом.

— Спасибо,— сказал он.— Спасибо, спасибо.

— Прощайте, товарищ,— сказал я.— Помолитесь за меня.

## Хлеб

Наконец-то закончился день, долгий и бессмысленный, полный тщетных забот, лицемерных улыбок, напрасных, нелепых реверансов, пустых разговоров, случайных обещаний, о которых помнишь не более минуты,— и я вышел из конторы.

Был синий прозрачный летний вечер; жара спала; воздух увлажнился пролетевшим с полчаса назад слепым дождём; трава и листва деревьев ещё блестели на солнце, а асфальт подсох, и только в тени бордюров виднелись ключья свялявшейся, как войлок, мокрой дорожной пыли. Надеюсь развеяться пешей прогулкой, я, не дойдя до трассы, свернул в незнакомую улочку, успев заметить на угловом доме табличку с надписью: «Ул. Русская, №1».

Это была одна из тех старых, не задетых модернизацией улочек, каких ещё немало в нашем городе; но, едва вступив в неё, я будто оказался в другом мире и с каждым шагом всё глубже проникнулся особенностью её атмосферы; трудно было поверить, что в двухстах метрах отсюда

носятся туда-сюда иномарки, гудят на переходах эскалаторы и бликуют холодные, как рыбий глаз, витрины бутиков.

Я шёл по узкой, местами вздымавшейся плавными волнами двухполосной дороге мимо одноэтажных домиков из имперского тёмно-красного кирпича с округлившимися от времени гранями. Дома с двух сторон утопали в вишнёвых кустах, пронизанных звенящим закатным солнцем; под низкими окнами с деревянными ставенками пышно цвели розы, а в таинственной сиреновой глубине комнат то и дело мелькали белые лица и руки; воздух пах васильком и петрушкой, слышалось шипенье сковородок и кудахтанье кур; кругом царило какое-то ярмарочное оживление; у калиток, на ярко выкрашенных скамейках, поставленных среди ромашек, восседал праздный народ: старушки в цветистых платочках лузгали семечки, о чём-то любовно пререкаясь с внучатами, приступом бравшими их крепкие колени, и перекивались с соседками, сидящими через улицу напротив; мужики в кепках, повернувшись друг к другу полубоком и закинув ногу на ногу, играли в нарды и шашки, покашливая и попыхивая «Беломором» и «Примой» и добродушно переругиваясь; толкались под заборами, беспорядочно пиная мяч, голые по пояс мальчишки; прыгали на расчерченном мелом асфальте девочки, прижимая ладонями к бёдрам лёгкие платьица; повсюду сновали маленькие шумные собачки с задранными и дрожащими от восторга хвостами; и только кошки сидели на перилах крылец недвижимые, как сфинксы...

Праздничное, лубочное сияние жизни озадачило и очаровало меня; оно напомнило мне картинки из старых детских книжек, в которых каждая подробность была прописана с умильной тщательностью, и моё сердце исполнилось предчувствием какого-нибудь фантастического разрешения всех вопросов и сомнений, томивших меня в последнее время. Я насторожился и, испытывая некоторую неловкость за свой хмурый штатский облик, способный омрачить любую идиллию, всё-таки замедлил шаг, чтобы ничего не пропустить.

Мне даже пришло в голову приостановиться и закурить, когда на одной из скамеек впереди раздался смех, звонкий и привольный, каким смеются почти без причины и просто потому, что хочется смеяться, от избытка здоровья и силы. Это были три молодые женщины, белые и плечистые, полноватые, в косынках и пёстрых передниках, которые, очевидно, оставили ненадолго свои домашние хлопоты и выбежали на улицу, чтобы немножко поболтать. Перед ними стояла детская коляска, над бортиком которой раскачивалась алая младенческая ступня,— из чего я решил, что все они непременно невестки. Поравнявшись с женщинами, я увидел между ними на скамейке буханку разломанного руками хлеба: у всех во рту был

хлеб; они жевали и, блаженно вздрагивая грудью, продолжали посмеиваться, словно были обязаны высмеять свой смех до последней смешинки. Случайно я встретился взглядом с той, что сидела посередине; она на мгновение смешалась, как будто её застали врасплох за чем-нибудь неприличным, и, зардевшись, быстро подняла руку и прикрыла пальцами смеющиеся губы.

— Хлеб кушаем! — вдруг сказала она просто и весело, пожав плечами, и они снова покатались со смеху, налегая тугими бюстами на коленки. — На здоровье! — крикнул я и тоже рассмеялся.

Когда они остались позади, их смех на секунду пресёкся, после чего тот же голос громко сказал: — Обойдётся!..

Было очевидно, что одна из них засомневалась, не следовало ли меня угостить. Мне очень хотелось оглянуться, чтобы ещё раз, хоть коротко,

полюбоваться на них, на их смеющиеся лица и белые плечи, а заодно показать, что я тоже не лишён юмора и вовсе не обижаюсь, но я постеснялся.

«„Хлеб кушаем“, — повторил я про себя, уже завернув за угол и закурив. — Что это значит? Зачем они кушают хлеб? Разве они голодные? Куда там!.. И дома у них наверняка есть и блинчики с вареньем, и пельмени со сметаной, а на плите борщ варится... „Хлеб кушаем“: хотела ли она тем самым объяснить свой беззастенчивый счастливый смех, или сказала от смущения то, что пришло в голову, или... или это было такое приветствие?.. „Хлеб кушаем“: надо же, какие... вкусные слова!..»

Едва прибыв домой, я направился на кухню, отломил кусок хлеба и положил в рот. «Хлеб кушаем», — сказал я себе ещё раз и, улыбаясь и жуя, пошёл раздеваться.